

Кот, который не хотел быть фамильяром

Приквел
к серии
«Ведьма из Сызрани»



Милана Панова

**Кот, который не хотел
быть фамильяром**

«Автор»

2026

Панова М.

Кот, который не хотел быть фамильяром / М. Панова — «Автор»,
2026

Приквел к серии «Ведьма из Сызрани». Можно читать отдельно — знакомство с серией не нужно. Меня зовут Модест. Я кот. Самый красивый кот Самарской губернии, первый голос ведьминских собраний от Ставрополя до Хвалынска. У меня режим сна, фарфоровое блюдце для сливок и своё мнение обо всём. И вот моя хозяйка умирает, а по завещанию меня отдают в фамильяры её племяннице — рыжей конопатой сироте из Сызрани, у которой «нет дара», нет денег и нет даже двери в избе. Только земляной пол, пшённая каша без соли и клиенты, которые платят гусями. Я категорически против. Но эта девица то лечит корову, то отказывается от пятидесяти рублей, то чуть не погибает у старого пепелища. Приходится, ворча и закатывая глаза, её спасать. 1861 год, Волга, холера, водяной, чёрт под мостом и строгая сваха в чёрном. Смешная и трогательная история о том, как вредный кот научился быть на чьей-то стороне.

© Панова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Завещание	5
Глава 2. «Ласточка»	9
Глава 3. Затонная	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Милана Панова

Кот, который не хотел быть фамильяром

Глава 1. Завещание

Меня зовут Модест. Мне двести семнадцать лет. И я никогда — слышите, никогда — не хотел быть фамильяром.

Я хотел быть котом.

Это совершенно разные профессии, что бы вам ни рассказывали. Кот спит восемнадцать часов в сутки. Кот ест, когда хочет, и то, что хочет. Кот сидит на подоконнике и смотрит на улицу с выражением лёгкого презрения ко всему человечеству. Кот никому ничего не должен. Это прекрасная, достойная, спокойная жизнь, и я был для неё создан.

Фамильяр же — это что-то вроде секретаря, сторожа, советника, няньки и громоотвода одновременно. Фамильяр не спит, когда ведьма не спит. Фамильяр ест, когда ведьма вспомнит его покормить. Фамильяр таскается за ведьмой по болотам, кладбищам и чужим огородам, видит нитки, которые не хочет видеть, и выслушивает жалобы людей, которые ему совершенно неинтересны. И за всё это ему не платят. Ни копейки. Ни ложки сметаны сверх обычного.

Я узнал об этом в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, в марте, в Самаре, в доме на Дворянской улице. В тот день, когда умерла Евпраксия Тихоновна Сомова. Моя хозяйка.

Мне был пятьдесят один год.

По кошачьему счёту — это почти бессмертие. По счёту фамильяров — юность. Мы, фамильяры, живём долго. Пока есть кому служить. Я служил Евпраксии Тихоновне тридцать четыре года. Попал к ней котёнком — она нашла меня в корзине на Троицком рынке, в восемьсот двадцать седьмом, полудохлого, с гноющимися глазами, — и вырастила. Выкормила с ложечки. Научила видеть нитки. Научила говорить. Научила, как она выражалась, «держаться».

Держать себя я научился превосходно.

Я был красив. Скажу без ложной скромности — я был самым красивым котом Самарской губернии. Шерсть — как вороново крыло, без единого рыжего волоска. Манишка — белая, треугольная, безупречная, как у лакея в лучшем доме Петербурга. Глаза — жёлтые, круглые, как два новеньких червонца. Хвост — пушистый, длинный, вечно трубой. Вес — девять фунтов. Не толстый — статный.

И у меня был голос.

Я пел. Не мяукал, как обычные коты, а пел. Частушки. Я мог сочинить частушку на любого человека за минуту. Глянул — и готово. Смешно, метко, зло. Ведьмы Самарской и Симбирской губерний приглашали меня на свои собрания. Специально. Чтобы я пел. Им было смешно. А мне было приятно. Меня знали от Ставрополя до Хвалынского. «Евпраксий кот» — говорили с уважением. «Модест поёт» — говорили с предвкушением.

Евпраксия Тихоновна жила богато. Дом на Дворянской — каменный, двухэтажный, с мезонином. Клиенты — купчихи, чиновницы, однажды даже жена вице-губернатора. Платили серебром. Иногда — золотом. Я спал на пуховой перине в гостиной, ел сливки из фарфорового блюдца с золотым ободком, а по воскресеньям — паштет из гусиной печёнки, который Евпраксии Тихоновне привозили из французской лавки.

Я был счастлив.

А потом она умерла.

Тихо. Во сне. В семьдесят восемь лет. Утром горничная Дуняша вошла в спальню с самоваром — и уронила самовар.

Я лежал у хозяйки в ногах. Всю ночь. Я знал. Я видел, как гаснет её нитка — та, что к жизни, — медленно, как свеча на сквозняке. Я ничего не мог сделать. Я лежал и смотрел. И пел ей. Тихо. Не частушку. Просто — без слов. Она любила, когда я так пел.

Хоронили на третий день. На Всесвятском кладбище. Ведьмы приезжали со всей губернии. Плакали. Я сидел у могилы и не плакал. Коты не плачут. Мы для этого слишком хорошо воспитаны.

А на девятый день пришёл нотариус.

Нотариус был маленький, лысый, в очках, пах табаком и чернилами. Он сел в гостиной, на моё кресло — я ему это потом не простил, — разложил бумаги и начал читать завещание.

Дом — продать. Деньги — в пользу Самарского сиротского приюта. Мебель — продать. Книги — в пользу Самарской публичной библиотеки. Шкатулку с драгоценностями — горничной Дуняше, «за верную службу». Банки с травами — сжечь. Не открывая.

— И последний пункт, — сказал нотариус. Поправил очки. Посмотрел на меня. Почему-то — на меня. — «Кота моего, Модеста, — племяннице моей, Марфе Игнатьевне Сомовой, проживающей в городе Сызрани, Симбирской губернии. Пусть служит ей, как служил мне. Она в нём нуждается больше, чем кто-либо».

В гостиной стало тихо.

Я сидел на подоконнике. Смотрел на нотариуса.

Медленно — очень медленно — слова дошли до меня.

«Племяннице». «Марфе». «Сызрани».

«Пусть служит».

Сызрань.

Я знал, что такое Сызрань. Уездный городишко на Волге, в ста верстах вниз по течению. Пристань, хлебные амбары, кремль с одной башней, грязь по колено, купцы, которые не умеют читать, и мещане, которые не умеют ничего. Там не было французской лавки. Там не было паштета из гусиной печёнки. Там не было ведьминских собраний, на которых я пел. Там вообще ничего не было.

И Марфа.

Я знал Марфу. Видел её два раза. Первый — восемнадцать лет назад, когда её, пятилетнюю сироту, привезли к Евпраксии Тихоновне из Сызрани после смерти матери. Худая, бледная, с огромными серыми глазами, в чужом пальто. Она полгода прожила в этом доме. Не говорила ни слова. Пряталась под лестницей. Боялась меня — я был тогда ещё молод и любил шипеть на детей. Потом Евпраксия Тихоновна отправила её назад, в Сызрань, к какой-то дальней родне, — «у девчонки дара нет, учить нечему, пусть растёт, где родилась».

Второй раз — пять лет назад. Марфа приезжала на Рождество. Восемнадцать лет. Всё такая же худая, бледная, серая. В штопаном платье. С корзинкой сушёных грибов в подарок. Евпраксия Тихоновна приняла её в гостиной, напоила чаем, спросила, как жизнь. Марфа ответила: «Ничего, тётяшка». И весь вечер просидела на краю стула, глядя в пол. Я лежал на своей перине и смотрел на неё. И думал: «Бездарная. Пустая. Ничего в ней нет».

И её — мне.

Мне. Модесту. Самому красивому коту Самарской губернии. Первому голосу ведьминских собраний от Ставрополя до Хвалынского.

Бездарную сироту из Сызрани.

— Нет, — сказал я.

Нотариус, разумеется, услышал «мяу». Он снова поправил очки.

— Кот, кажется, возражает, — сказал он с лёгкой улыбкой.

— Кот ещё как возражает, — сказал я. — Кот категорически отказывается. Кот требует пересмотра. Кот подаст жалобу в Губернское собрание ведающих. Кот...

— Модест Евпраксиевич, — сказала горничная Дуняша. Она стояла у двери, в чёрном, с заплаканными глазами. Она меня понимала — у неё был маленький дар, совсем крошечный, по краешку. — Барыня так решила. Барыня перед смертью мне сказала: «Дуняша, Модеста — Марфе. Скажи ему: я знаю, что он злиться будет. Пусть злится. А ехать — надо». — Дуняша всхлипнула. — Барыня сказала: «Он ей нужнее, чем мне был. А она ему — нужнее, чем он думает».

Я сидел на подоконнике.

«Она ему нужнее, чем он думает».

Что это вообще значит?

— Я не поеду, — сказал я Дуняше. — Я останусь здесь. В Самаре. Найду себе другую ведьму. Приличную. С домом на Дворянской.

— Дом продают, Модест Евпраксиевич, — тихо сказала Дуняша. — Через неделю. Купец Шехобалов купил. Он котов не любит. Он собак держит. Борзых.

Я посмотрел в окно. На Дворянскую. На весенний самарский снег, серый, мокрый. На извозчиков. На купол собора вдалеке.

Через неделю здесь будут жить борзые.

— Ну, — сказал я. — Ну хорошо. — И спрыгнул с подоконника. — Но я подам жалобу.

Жалобу я подал. Через ворону Губернского собрания ведающих, которая жила на колокольне Казанского собора.

Ответ пришёл через три дня. Ворона принесла записку. Короткую.

«Воля покойной есть воля покойной. Фамильяр следует за наследником. Езжай, Модест. Не позорь Евпраксию. Председатель Собрании М. Ф. Дёмина».

Матрёна Фёдоровна Дёмина. Старая ведьма из Ставрополя. Она обожала мои частушки. Она хохотала до слёз, когда я пел про её соседку-попадью.

Предательница.

Марфа Игнатьевна Сомова приехала за мной через две недели. На пароходе. Из Сызрани.

Я ждал её на пристани. Дуняша отвезла меня туда в корзине — в той самой, плетёной, в которой Евпраксия Тихоновна нашла меня на Троицком рынке тридцать четыре года назад. Я сидел в корзине на мокрых досках пристани и смотрел на Волгу.

Волга в конце марта была страшная. Лёд ещё не сошёл до конца. По реке плыли огромные серые льдины. Ветер дул такой, что у меня шерсть вставала дыбом против моей воли. Пахло рыбой, дёгтем, мокрым деревом и дымом пароходных труб.

Пароход подошёл к пристани. Небольшой, колёсный, с одной трубой. Назывался «Ласточка». На палубе — мужики в тулупах, бабы с узлами, купцы в енотовых шубах. И она.

Я узнал её сразу.

Она стояла у борта. Худая, бледная. В том же — или в похожем — штопаном пальто. В сером платке. С маленьким дорожным узлом в руках. И с таким лицом, будто она ехала на собственные похороны.

Пароход ткнулся в пристань. Матросы бросили сходни. Люди повалили на берег.

Марфа сошла последней. Остановилась на мокрых досках. Огляделась. Увидела Дуняшу. Увидела корзину. Увидела меня в корзине.

И замерла.

Мы смотрели друг на друга. Она — на меня. Я — на неё.

Она была ещё хуже, чем я помнил. Веснушки — по всему лицу, крупные, рыжие, как отруби. Нос — длинный, острый, покрасневший от ветра. Губы — обветренные, потрескавшиеся. Волосы — рыжевато-русые, выбившиеся из-под платка, торчащие во все стороны, как солома. Руки — красные, в цыпках. На пальто — заплатка на локте. На ботинках — грязь до щиколоток.

Глаза — серые. Огромные. Испуганные.

— Здравствуйте, — сказала она. Мне. Не Дуняше. Мне.

Я не ответил.

— Вы Модест, — сказала она. — Я помню. Вы на меня шипели. Когда я маленькая была. Я продолжал не отвечать.

— Тётяшка написала, — сказала Марфа. Голос у неё был тихий, хрипловатый, с сызранским выговором — она окала, как бурлак. — В завещании. Что вы теперь — мой. — Она помолчала. — Я не знаю, что с вами делать. У меня никогда не было кота. — Ещё пауза. — Вы что едите?

Тут я не выдержал.

— Сливки, — сказал я. — Из фарфорового блюда. С золотым ободком. По воскресеньям — паштет из гусяной печёнки. Из французской лавки. Сплю на пуховой перине. Не раньше десяти утра. Не люблю шума, сквозняков, детей и собак. И я не «ваш». Я ничей. Я — Модест.

Марфа смотрела на меня.

И я вдруг понял, что она меня поняла. Каждое слово. Не «мяу» — а слова.

Она меня слышала.

— Сливок у меня нет, — сказала она тихо. — Блюда с ободком — тоже. Паштета... — Она помолчала. — Я не знаю, что такое паштет. Перины нет. Есть сенник. Детей нет. Собак нет. — Ещё пауза. — Сквозняки — есть. Много. У меня изба на Затонной. Старая. Мамина.

Мы смотрели друг на друга.

— Тётяшка написала, что вы мне нужнее, чем я думаю, — сказала Марфа. — Я не знаю, что это значит. — Она подняла корзину. Неловко. Корзина накренилась, я съехал на бок. — Простите. Я не умею.

— Это заметно, — сказал я.

Марфа посмотрела на меня. Потом — неожиданно — улыбнулась. Криво. Неумело. Одним уголком рта.

— Вы злой, — сказала она.

— Я честный, — сказал я.

— Тётяшка говорила, что вы поёте, — сказала Марфа. — Частушки. Что вас вся губерния слушает.

— Говорила, — согласился я.

— Споёте мне? — спросила Марфа. — Когда-нибудь?

Я посмотрел на неё. На веснушки. На заплату на локте. На корзину, которую она держала вкривь и вкось.

— Когда-нибудь, — сказал я. — Может быть. Если заслужишь.

Пароход «Ласточка» дал гудок. Отходил через полчаса — обратно, вниз по Волге, в Сызрань.

Марфа поднялась по сходням. С корзиной. Со мной в корзине. Неловко, спотыкаясь, держа корзину то одной рукой, то другой.

Я смотрел на удаляющуюся Самару. На купол собора. На крыши Дворянской улицы. На пристань, где стояла Дуняша в чёрном и махала платком.

И думал: «Евпраксия Тихоновна. За что?»

Глава 2. «Ласточка»

Пароход до Сызрани шёл сутки.

Это были худшие сутки в моей жизни. До того момента. Потом были и хуже — но тогда я этого ещё не знал.

Во-первых, качка.

Волга в конце марта — это не Волга в июле. Это холодная, тёмная, злая река, по которой плывут льдины размером с купеческий дом, и маленький колёсный пароход лавирует между ними, кренясь то на один бок, то на другой. Корзину мою мотало из стороны в сторону. Меня — тоже. Я лежал на дне корзины, вцепившись когтями в прутья, и думал о сливках. О фарфоровом блюде. О пуховой перине.

Во-вторых, Марфа.

Марфу укачало через полчаса после отхода. Она сидела на палубе, на свёрнутом канате, у борта, с моей корзиной на коленях, и была зелёная. Буквально зелёная. Как молодой огурец.

— Тебе плохо, — сказал я.

— Нет, — сказала Марфа. И перегнулась через борт.

Я отвернулся. Из деликатности.

— Ты когда-нибудь раньше на пароходе ездила? — спросил я, когда она отдышалась.

— Ездила, — сказала Марфа. — Сюда. Вчера. — Она вытерла рот рукавом. — Тоже тошнило.

— Зачем же ты поехала?

Марфа посмотрела на меня. Серые глаза — мокрые, красные от ветра.

— За вами, — сказала она. — Тётяшка велела.

— Тётяшка умерла.

— Ну и что, — сказала Марфа. — Велела же.

Я не нашёлся, что ответить.

В-третьих — люди.

На палубе было тесно. Мужики в тулупах, пахнущие луком и сивухой. Бабы с узлами и детьми. Купцы в енотовых шубах, курящие трубки. Монашки — две, в чёрном, с четками. Солдат — один, на костыле, без ноги, возвращался из Севастополя, где был ранен ещё в пятьдесят пятом и шесть лет лежал по госпиталям.

И все они смотрели на Марфу.

Не на меня — на неё. Косо. Насмешливо. С любопытством. Худая, рыжая, конопатая девка в штопаном пальто, зелёная от качки, с корзиной, в которой сидит кот. Кот! Как барыня какая.

— Эй, рыжая, — сказал один из мужиков. Молодой, здоровый, с красной рожей. — Ты чего кота-то везёшь? Мышей ловить? У нас в Сызрани мыши — во! — Он показал руками размер небольшой собаки. — Твоего задушат.

Мужики заржали.

Марфа ничего не ответила. Опустила голову. Покраснела.

Я посмотрел на мужика. На его красную рожу. На кривые зубы. На засаленный тулуп.

И сочинил. Сразу. За секунду. Как всегда.

— «Эх, Сызрань, ты Сызрань, город славный,

У тебя есть парень, он у нас самый главный.

Рожа как свёкла, нос как калач,

Девки как увидят — сразу в плач».

Я пропел это. Громко. На всю палубу.

Мужики, разумеется, слышали «мяу». Громкое, переливчатое, музыкальное «мяу», но всё-таки «мяу».

Но Марфа слышала слова.

Она подняла голову. Посмотрела на меня. Огромными глазами.

А потом прыснула. В ладонь. Громко, неудержимо. Как ребёнок в церкви.

Мужик с красной рожей уставился на неё.

— Ты чего ржёшь?

— Ничего, — сказала Марфа сквозь смех. — Ничего. Кот смешно мяукнул.

Мужик посмотрел на меня. Я посмотрел на мужика. Жёлтыми глазами. Не мигая.

Мужик отвёл взгляд первым. Отошёл к своим. Больше к нам не подходил.

Марфа ещё долго смеялась. Тихо. Вытирая слёзы.

— Это вы... это вы про него? — спросила она, отдышавшись. — Про свёклу?

— Про него, — сказал я.

— Вы его даже не знаете.

— Мне не надо знать, — сказал я. — Мне надо увидеть. Я увидел.

Марфа посмотрела на меня. Долго. Серьёзно.

— Тётяшка правду говорила, — сказала она. — Вы злой. И смешной.

— Это одно и то же, — сказал я. — Смешное всегда немножко злое. Иначе не смешно.

Марфа подумала.

— Не знаю, — сказала она. — По-моему, бывает смешное и доброе.

— Не бывает, — сказал я.

Тогда я ещё в это верил.

К ночи качка утихла. Пароход вышел на широкую воду, где льдин было меньше. Звёзды высыпали над Волгой — огромные, мартовские, холодные. Луна поднялась над Жигулями — горы стояли по правому берегу, тёмные, лесистые, страшные.

Люди на палубе спали. Кто на узлах, кто на канатах, кто просто на досках, укрывшись тулупами. Солдат на костыле храпел. Монашки молились шёпотом.

Марфа не спала. Сидела у борта. С моей корзиной на коленях. Смотрела на воду.

Я тоже не спал. Я вообще плохо сплю в незнакомых местах. Тем более — в корзине. Тем более — на пароходе.

— Модест, — сказала вдруг Марфа. Тихо.

— Мм.

— А вы видите? Вон там?

Я поднял голову. Посмотрел туда, куда она смотрела. На воду. На тёмную Волгу за бортом.

И увидел.

Нитки. Над водой. Много-много. Тонкие, светящиеся, серебристые, они тянулись от берега к берегу, от деревень к деревням, от пристаней к пристаням. Через всю реку. Как паутина. Как сеть. Как струны на огромных гусях.

Обычное дело. Я видел их всю жизнь. Евпраксия Тихоновна научила меня видеть, когда мне не было и года.

Но я не знал, что их видит Марфа.

— Видишь? — спросил я. Очень осторожно.

— Вижу, — сказала Марфа. Шёпотом. Как будто стыдясь. — С детства. Всегда. Нитки. Светятся. Между людьми. Между домами. Над водой — больше всего. — Она помолчала. — Я никому не говорю. Думают — дура. Тётяшка, когда я маленькая у неё жила, — я ей сказала. Она посмотрела на меня. Долго. И сказала: «Тебе кажется, Марфа. Дара у тебя нет. У Сомовых дар — через одну. Мать твоя была ведьма. А ты — нет». — Марфа опустила голову. — Я и не говорила больше. Никому.

Я сидел в корзине. Смотрел на неё.

Евпраксия Тихоновна сказала — дара нет.

Евпраксия Тихоновна никогда не ошибалась.

Или ошибалась?

Или — врала?

Зачем?

— Посмотри вон туда, — сказал я. — На левый берег. Где огонёк.

Марфа посмотрела.

— Деревня, — сказала она. — Там нитки — грязные. Серые. Перепутанные. Как будто кто-то клубок кошке бросил. — Она прищурилась. — Там кто-то болеет. Сильно. Нитка — вот такая. — Она показала пальцами. — Тоненькая. Почти рвётся.

Я посмотрел. Она была права. В деревне на левом берегу — я видел — кто-то умирал. Ребёнок, кажется. Нитка — тоненькая, бледная, как паутинка.

Я посмотрел на Марфу.

У меня шерсть встала дыбом. Не от ветра.

Она видела. Не просто нитки — она видела, что с ними. Какие они. Где порвано. Где перекручено. Где болеет. Евпраксия Тихоновна этому меня учила десять лет. А Марфа — просто видела. Как дышала.

— Марфа, — сказал я. — Кто тебя учил?

— Никто, — сказала Марфа. — Я же говорю. Тётяшка сказала — дара нет.

— А мать?

— Мать умерла, когда мне было пять. — Марфа помолчала. — Я её почти не помню. Помню только — она пела. Без слов. Вот так. — И она тихо, хрипловато, неуверенно, напела несколько нот.

Я замер.

Я знал эту мелодию. Тягучую, медленную, как Волга в июле. Её иногда пели старые ведьмы на собраниях — самые старые, те, которым за сто. Не частушку — что-то другое. Что-то очень древнее. Я никогда не понимал, что это. Мне было скучно. Я предпочитал частушки.

— Это... — сказал я. — Это что?

— Не знаю, — сказала Марфа. — Мамина песня. Я её помню. Только её и помню. — Она посмотрела на воду. — Когда мне страшно — я её пою. Помогает.

Пароход «Ласточка» шёл по ночной Волге. Над рекой висели нитки — серебряные, бесконечные. В деревне на левом берегу умирал ребёнок.

— Если бы ты была там, — сказал я медленно, — в той деревне. С этим ребёнком. Ты бы смогла? Нитку подтянуть?

Марфа посмотрела на меня. Удивлённо.

— Как — подтянуть?

— Руками, — сказал я. — Не руками. Ну — так. — Я не знал, как объяснить. Евпраксия Тихоновна объясняла мне годами. — Взять — и подтянуть. Подвязать к другим. Чтобы не рвалась.

Марфа смотрела на меня. Потом — на деревню. На тоненькую бледную нитку.

Потом медленно, очень медленно протянула руку. Туда. Над водой. Через борт. Как будто хотела что-то поймать.

И я увидел — увидел своими глазами, — как тоненькая нитка на левом берегу дрогнула. Шевельнулась. Как будто кто-то её погладил. Издалека. Через реку. Через полверсты воды.

И стала чуть толще.

Совсем чуть-чуть. Еле заметно.

Марфа опустила руку.

— Что это было? — прошептала она.

Я сидел в корзине. Не мог говорить.
Полверсты. Через реку. Ночью. Без учёбы. Без заговора. Без ничего. Просто — протянула руку.

Евпраксия Тихоновна так не могла. Никогда.

«Дара у тебя нет».

«Она ему нужнее, чем он думает».

— Марфа, — сказал я наконец. Голос у меня был хриплый. — Ты ведьма.

Марфа посмотрела на меня. Долго.

— Нет, — сказала она. — Тётенька сказала...

— Тётенька соврала, — сказал я.

Я не знал тогда, почему Евпраксия Тихоновна соврала. Узнал потом. Через много лет. И когда узнал — простил её. Но в ту ночь, на палубе «Ласточки», я сидел в корзине и смотрел на рыжую конопатую девку в штопаном пальто, которая только что через полверсты воды подтянула нитку умирающему ребёнку, — и думал:

«Евпраксия Тихоновна. Что ты наделала».

И ещё думал — тихо, так, чтобы самому не услышать:

«И что теперь буду делать я».

Глава 3. Затонная

Сызрань встретила нас дождём.

Мелким, холодным, мартовским, вперемишку со снегом. Пристань была деревянная, скользкая, вся в грязи. На берегу — амбары. Хлебные. Огромные, кирпичные, в два этажа, с железными дверями. За амбарами — склон. На склоне — город. Деревянный, серый, мокрый. Колокольни. Купола. И над всем этим, на холме, — кремль. Одна башня. Каменная. Старая. Мрачная.

— Спасская, — сказала Марфа, проследив мой взгляд. — Ей двести лет. Говорят, её строил воевода. Когда город ставили.

— Козловский, — сказал я. Я знал. Евпраксия Тихоновна рассказывала. — Тысяча шестьсот восемьдесят третий год.

Марфа посмотрела на меня удивлённо.

— Откуда вы знаете?

— Я много чего знаю, — сказал я. — Я образованный кот.

Затонная улица оказалась вниз. У самой воды. У затона — тихой заводи, где зимовали баржи. Улица была кривая, грязная, без мостовой. Избы — маленькие, покосившиеся, почерневшие. Заборы — из горбыля. Лужи — по колено. Пахло рыбой, дёгтем, мокрым деревом и навозом.

Марфина изба стояла в самом конце. У самого затона. Последняя.

Я посмотрел на неё из корзины — и закрыл глаза.

Изба была маленькая. Одна комната. Крыша — соломенная, прогнившая, в одном месте провалившаяся. Окна — два, крошечные, затянутые бычьим пузырьём вместо стекла. Крыльцо — три ступеньки, средняя сломана. Дверь — висит на одной петле. Забора нет. Вместо забора — бурьян в человеческий рост, сухой, прошлогодний, мокрый.

— Это мамина, — сказала Марфа. — Мама тут жила. И бабушка. И прабабушка. — Она помолчала. — Говорят, раньше был другой дом. Большой. На горе. На Верхне-Кирпичной. А потом сгорел. Давно. Ещё до мамы. И бабушка сюда переехала.

Она открыла дверь. Дверь заскрипела и упала. Совсем. С петли. На крыльцо.

Марфа посмотрела на дверь. Вдохнула. Подняла. Прислонила к стене.

— Починю, — сказала она. — Завтра.

Внутри было темно, холодно и сыро. Печь — маленькая, глинобитная, потрескавшаяся. Стол — дубовый, на кривых ногах. Лавка вдоль стены. Сундук. Полка с горшками. В углу — икона, тёмная, неразличимая, с лампадкой, которая не горела. На полу — земля. Не доски — земля. Утоптанная, холодная.

И пахло. Мышами. Сыростью. Плесенью. Старой золой. И — едва-едва, как воспоминание, — травами. Сушёными. Полынью, зверобоем, мятой.

Марфа поставила корзину на лавку. Открыла.

Я не вылез.

— Модест, — сказала она.

— Нет, — сказал я.

— Что — нет?

— Я не выйду, — сказал я. — Я останусь в корзине. Навсегда. Пока не умру. Это будет скоро. Здесь холодно. Здесь мыши. Здесь земляной пол. Я умру от чахотки через неделю. А ты будешь виновата.

Марфа посмотрела на меня. Потом на избу. Потом снова на меня.

— Вы правы, — сказала она. Тихо. — Здесь плохо. — Она села на лавку. Рядом с корзиной. — Тут всегда было плохо. Я здесь с пяти лет. С тех пор как от тётеньки вернулась. Сначала

— с дальней роднёй, с тёткой Ульяной Ильиничной, она в прошлом году умерла. Теперь — одна. — Она смотрела на холодную печь. — Я знаю, что здесь плохо. Я не дура.

Я молчал.

— Тётька написала — вы мне нужнее, чем я думаю, — сказала Марфа. — Я всю дорогу думала, что это значит. На пароходе. Когда тошнило. — Она помолчала. — Наверное, она думала — вы меня научите. Чему-нибудь. Раз вы нитки видите. Раз вы говорите.

— Я не учитель, — сказал я.

— Я знаю, — сказала Марфа. — Вы — кот. Вы хотите сливок. И перину. И паштет. — Она встала. — Я не могу вам этого дать. У меня ничего нет. Совсем. — Она пошла к печи. Присела. Стала выгребать золу. Руками. Красными, в цыпках. — Если хотите — я вас обратно в Самару отвезу. Через неделю пароход. Найдёте себе другую ведьму. С домом.

Я сидел в корзине. Смотрел на неё. Как она выгребаёт золу из холодной печи. Руками. На земляном полу. В штопаном пальто.

— Купец Шехобалов, — сказал я. — Купил дом на Дворянской. С борзыми.

— Что?

— Мне некуда возвращаться, — сказал я. — Там борзые.

Марфа повернулась. Посмотрела на меня. Через плечо. С золой на руках, на носу, на веснушках.

— Значит, — сказала она, — останетесь?

— Значит, — сказал я, — придётся.

Я вылез из корзины.

Земляной пол был холодный, как лёд. Я поджал лапы. Огляделся. Нашёл место — на печи, на лежанке, где ещё, может быть, будет тепло. Запрыгнул. Лежанка была холодная и пыльная.

— Дрова есть? — спросил я.

— Есть немного, — сказала Марфа. — В сенях. Сырые.

— Топи, — сказал я. — Я замёрзну. Я не для этого климата создан.

Марфа затопила печь.

Печь дымила. Страшно. Дым валил в избу, а не в трубу. Марфа кашляла. Я кашлял. Мы открыли дверь — ту, что упала, — и дым медленно выполз на улицу. Потом печь прогрелась. Задымила меньше. Потом — совсем перестала. Огонь загудел. По избе пополз тёплый воздух.

Я лежал на лежанке. На пыльной, но уже тёплой. И думал о пуховой перине.

Марфа сварила кашу. Пшённую. На воде. Без масла. Без соли — соли не было. Поставила на стол миску. Себе. И — помедлив — вторую. Маленькую. Глиняную. С отбитым краем.

— Это вам, — сказала она. — Каша. — Помолчала. — Больше ничего нет.

Я посмотрел на миску. На пшённую кашу без масла и соли. В глиняной миске с отбитым краем.

Тридцать четыре года — сливки. Из фарфорового блюдца. С золотым ободком.

Я слез с печи. Подошёл к миске. Понюхал.

И съел.

Всю.

Это была худшая каша в моей жизни. И я был так голоден, что она показалась мне паштетом.

Наутро к Марфе пришла первая клиентка.

Я спал. На печи. Впервые за трое суток — по-настоящему. Мне снилась Дворянская улица, перина и фарфоровое блюдце. В блюдце были сливки. Я наклонялся, чтобы лизнуть, — и тут меня разбудил стук в дверь.

Не в дверь — в косяк. Двери не было. Дверь стояла прислонённая к стене.

На пороге стояла баба. Толстая, краснощёкая, в цветастом платке, в овчинном полушубке. С корзинкой. Из корзинки торчала гусиная шея. Живая.

— Марфуша, — сказала баба. — Ты вернулась? А мне говорили — уехала. В Самару. Насовсем.

— Вернулась, тётя Глаша, — сказала Марфа. Она сидела у печи и чинила своё пальто.

— Ох, хорошо-то как, — сказала тётя Глаша. И села на лавку. Без приглашения. — Ох, Марфуша. Беда у меня. С коровой. Зорька моя. Третий день не доится. Стоит в хлеву, на всех смотрит. Глаза — как у покойницы. Ничего не ест. — Она понизила голос. — Сглазили, Марфуша. Я знаю, кто. Пухова. С соседней улицы. Она на мою Зорьку давно зарится. На ярмарке смотрела — я видела. Глазищами своими чёрными.

Марфа отложила пальто. Посмотрела на тётю Глашу.

— Тётя Глаша, — сказала она. — Я ж не ведьма. Вы ж знаете. Это мама была. А я...

— Знаю, знаю, — замахала руками тётя Глаша. — А всё ж посмотри. Ты ж Аксинья дочка. Аксинья моей корове в пятьдесят первом году вымя вылечила. Может, и ты чего. — Она достала из корзинки гуся. Живого. Белого. Гусь гоготал и бил крыльями. — Вот. Возьми. Это тебе. Вперёд.

Марфа смотрела на гуся. Гусь смотрел на Марфу.

Я смотрел на них обоих с печи.

Гусь. Живой. В качестве оплаты.

Евпраксия Тихоновна брала серебром. Однажды — золотым червонцем. Жена вице-губернатора дала ей кольцо с изумрудом. Никогда — гусями.

— Я посмотрю, — сказала Марфа неуверенно. — Тётя Глаша. Я посмотрю. Но я не обещаю.

Корова Зорька стояла в хлеву у тёти Глаши. Через три двора. Рыжая, рогатая, с белой звёздочкой на лбу. Стояла, опустил голову. Не жевала. Смотрела в одну точку.

Марфа вошла в хлев. Я — следом. Я сам не знал, зачем пошёл. Наверное, от скуки. Или от любопытства. Хотел посмотреть, как она будет позориться.

Марфа подошла к корове. Постояла. Посмотрела.

— Ну? — шёпотом спросил я. — Что видишь?

— Нитку, — сказала Марфа. — Тоже шёпотом. — Вот — от коровы к тёте Глаше. Толстая. Тёплая. Хорошая. А вот... — Она прищурилась. — А вот ещё. Тонкая. Чёрная. От коровы — туда. — Она показала в стену хлева. В сторону соседней улицы. — Как пиявка. Присосалась.

Я посмотрел. Она была права. Тоненькая чёрная ниточка тянулась от коровы — сквозь стену, через огороды, — на соседнюю улицу. И по ней что-то текло. Из коровы — туда. Медленно. Как молоко через соломинку.

Сглаз. Обычный, бытовой, завистливый. Евпраксия Тихоновна снимала такие за пять минут. Одним словом. Я видел сотню раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.